

...КОГДА я работал на заводе, в обед мы выходили на заводской двор; одни присаживались и разворачивали бутерброды, другие курили или играли в волейбол. Там была небольшая клумба, окруженная стандартным деревянным заборчиком фабричного изготовления. Он представлял собой ряд дощечек полуметровой высоты, помещенных на расстоянии пяти сантиметров друг от друга и скрепленных такой же поперечной, и был выкрашен в зеленый цвет. Все это было покрыто пылью и сажой, как и пожелтые, пожелтевшие листья на квадратной клумбе. Куда бы вы ни поехали в этой Империи, вы всюду найдете такие заборчики. Их изготавливают промышленным способом, но, даже когда люди делают их вручную, они всегда следуют тому же образцу. Однажды я поехал в Среднюю Азию, в Самарканд; меня разобрало от всех этих бирюзовых куполов, непостижимых орнаментов на медресе и минаретах. Они и в самом деле существовали! И вдруг я увидел такую загородку с ее идиотским ритмом, и сердце мое екнуло, и Восток исчез. Мелкомасштабная, как на расческе, повторяемость узкого палисада мгновенно уничтожила пространство — а заодно и время — между заводским двором и древним престолом Кублахана.

Нет ничего более удаленного от этих дощечек, чем природа, на чью зелень по-идиотски намекает краска. Эти дощечки, правительственное железо перил, неизбежное хаки мундиров в каждой толпе на каждой улице каждого города, вечные фотографии домов в каждой утренней газете и бесконечный Чайковский по радио — все это может свести с ума, если вы не научитесь выключаться. На советском телевидении нет рекламы, зато есть портреты Ленина и так называемые «фотозтудии»: «Весна», «Осень» и прочие в перебивках между передачами. Плюс пузырящаяся «легкая» музыка, для которой и композитора не надо, ее динамик сам производит.

В те времена я еще не знал, что все это было итогом века прогресса и разума, века массового производства; я приписывал это государству и, частично, нации, которая пойдет на что угодно, лишь бы не требовалось воображения. Я и сейчас не думаю, что я был совсем неправ. Разве не легче распределить просвещение и культуру в централизованном государстве? Правителю, теоретически, доступнее совершенство, чем парламентарии. Руссо был против. И, увы, в России никогда так не получалось. Эта страна с ее великолепно гибким языком, способным выражать тончайшие нюансы в человеческой психологии, с ее незыблемой нравственной чуткостью (положительный результат трагической истории) обладает всем необходимым, чтобы стать культурным, духовным раем, подлинным оплотом цивилизации. Вместо этого она превратилась в сероватый ад с занюханной материалистической догмой и с патетическими порывами к потребительству.

Но мое поколение как-то уберглося. Мы вылезали из послевоенных развалин, когда Государство было слишком занято залатыванием собственной шкуры, чтобы как следует за нами присматривать. Мы пошли в школу, и, какой бы возвышенной чепухе нас там ни учили, страдания и бедность вокруг были слишком очевидны. Руины номером «Правды» не прикроешь. Пустые окна глазели на нас, как глазницы черепов, и, как ни малы мы были, мы ощущали трагедию. Правда, мы не видели связи между нами и руинами, но это и не нужно было: нечто исходило от них, что обрывало смех. Потом мы могли снова засмеяться, вполне бездумно, но все же это было уже «снова». В те послевоенные годы мы ощущали в воздухе странное напряжение, нечто нематериальное, почти призрачное. И мы были малы, дети. Всего не хватало, но, поскольку мы не знали других времен, мы не замечали. Великие были старые, довоенного выпуска, и владелец футбольного мяча считался буржуем. Пальто и белье, которое мы носили, были перешиты материями из отцовских униформ и заплятанным калесон (поклон Зигмунду Фрейдю). Так что страсть к приобретению в нас не развивалась. То, что мы могли приобрести позднее, было скверно сделано и выглядело уродливо. Как-то иден вещей мы предпочитали вещам как таковым, хотя, когда случалось заглянуть в зеркало, нас не очень радовало то, что мы там видели.

У нас никогда не было собственных комнат, чтобы затаскивать туда наших девочек, и у наших девочек комнат не было тоже. Наши романы были главным образом прогулочные и разговорные, набра-

лась бы сногшибательная сумма, если бы с нас тогда брали за километр. Старые склады, набережные реки в промышленных районах, твердые скамейки в мокрых скверах, холодные подъезды учреждений — вот типичные декорации первых наших пневматических усадеб. У нас никогда не было того, что принято называть «материальными стимулами». Что до идеологических — они вызвали смех даже у десятилетков. Если кто продавался, то не ради вещей и комфорта — таковых не было. Продавались по внутреннему побуждению, и сами это понимали. Не было вознаграждения, одни чистые потребности.

Если мы делали нравственный выбор, он был основан не столько на непосредственной реальности, сколько на этических нормах, почерпнутых из художественной литературы. Мы были ненасытными читате-

лучше, чем они, никто глубже не презирал время. Для них цивилизация означала больше, чем ежедневный хлеб, чем еженощное объятие. Это не было, как может показаться, еще одно потерянное поколение. Это было единственное поколение русских, нашедшее себя, для кого Джотто и Мандельштам были императивами в большей степени, чем личное будущее. Бедно одетые, но все же как-то элегантные, тасуемые глупыми лапами своих непосредственных хозяев, бегающие, как кролики, от вездесущих ценных псов Государства и от его еще более вездесущих ищек, сломленные, стареющие, они все-таки сохраняли любовь к несуществующей (или существующей лишь в их лысеющих головах) вещи под названием «цивилизация». Безнадежно отрезанные от остального мира, они думали, что

как хвост; так надо и писать, даже если рискуешь быть непоследовательным и скучным. Скука, в конечном счете, наиболее характерное свойство бытия, удивительно, почему ее так низко ценили в прозе девятнадцатого века, которая так гонялась за реализмом.

Но даже если у писателя есть все необходимое для того, чтобы воспроизводить на бумаге легчайшие колебания сознания, попытки воспроизвести хвост во всем его спиральном великолепии обречены на провал, даром, что ли, была эволюция. Перспектива годов выпрямляет все до полного исчезновения. Ничто ничего не возвращает, даже написанные слова с их закрученными буквами. Еще более обречена такая попытка, если хвост ухитрился застрять где-то позади, в России.

Но это было бы еще ничего, если бы печатные слова

западно-собственных концептуальных и аналитических навыков, например привычки использовать язык для расчленения действительности, тем самым лишая собственное сознание выгоды интуитивного постижения. Ибо, при всей их красоте, отдельные концепции всегда означают сужение значения, обрезание болтающихся кончиков. Тогда как в феноменальном мире в болтающихся концах-то все и дело, ибо они переплетаются.

Сами эти слова свидетельствуют, что я далек от того, чтобы обвинять английский язык в неэффективности, и не оплакиваю я сонное состояние психики говорящих на нем. Я просто высказываю сожаление по поводу факта, что такой развитой идее Зла, которой обладают русские, закрыт доступ в сознание говорящих по-английски людей на том основании, что русский

признал бы дегенератами. Что не случилось.

И был город. Самый прекрасный город на земле. С огромной серой рекой, которая висела над своим отдаленным дном, как огромное серое небо, которое висело над этой рекой. Над этой рекой стояли изумительные дворцы, со столь изукрашенными фасадами, что, если мальчик стоял на правом берегу, левый берег выглядел, как отпечаток огромного моллюска, именовавшегося цивилизацией. Которая перестала существовать.

Рано утром мальчик вставал, и, съев яйцо с чаем, под аккомпанемент радиосообщения о новой рекордной выплавке стали, за которым вслед армейский хор пел гимн Вождю, чей портрет был приколот над еще теллой постелью мальчика, он бежит по заснеженной гранитной набережной в школу.

Широкая река лежала белая и замерзшая, как язык умолкшего материка, и большой мост изгибался под темно-синим небом, как железное небо. Если у мальчика еще

Веч. Ленинград. - 1990. - Милл  
**МЕНЬШЕ ЧЕМ ЕДИНИЦА**

лями и впадали в зависимость от прочитанных книг. Книги, может быть, благодаря их чисто формальной законченности обладали абсолютной властью над нами. Диккенс был реальнее Сталина и Берии. Более, чем что бы то ни было, романы определяли характер нашего поведения и разговоров, и девяносто процентов разговоров было о романах. Это превращалось в порочный круг, но у нас не было желания разорвать его.

В нравственном отношении это поколение было среди самых книжных в русской истории, и спасибо тебе, Господи, за это. Отношения могли быть прерваны навеки из-за предпочтения Хемингуэя Фолкнеру; иерархия внутри этого пантеона была нашим подлинным центральным комитетом. Начинаясь с обычного набора знания, но скоро стало наиважнейшим занятием, в жертву которому все приносилось. Книжки стали первой и единственной действительностью, тогда как сама действительность считалась вздором и докукой. По сравнению с ними мы, казалось, проваливали и подделывали наши жизни. Но если подумать, действительность, игнорирующая провозглашенные литературой стандарты, ниже литературы и недостойна внимания. Так думали мы и, полагаю, были правы.

Инстинктивно чтение предпочиталось действию. Неудивительно, что наши фактические жизни были полным кошмаром. Даже те из нас, кто умудрился продрасть сквозь бурелом «высшего образования» с его неизбежным лизом (не только) — бондством при Системе, в конце концов попадали под влияние налагасмых литературой требований и не могли больше лгать. Мы скатывались к случайным заработкам — физический труд, редактирование — к чему-нибудь бессмысленному, как вырубание نامогильных надписей, черчение, технический перевод, счетоводство, переплет книг, проявление рентгено снимков. Время от времени мы возникали на пороге друг у друга с бутылкой в одной руке и с цветами, сладостями или закуской в другой и проводили вечер в разговорах, сплетнях, злоспыхательстве по поводу идиотизма чиновников наверху, гадая, кто из них умрет раньше. И тут я должен отбросить местоимение «мы».

Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто в России не умел писать



Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий. Фото Леонида ЛУБЯНИЦКОГО

по крайней мере этот остальной мир непохож на них; теперь они знают, что и остальной мир таков же, только лучше одет. Когда я пишу это, я закрываю глаза и почти вижу их, стоящих посреди обшарпанных кухонь, со стаканами в руках, с иронической гримасой поперек лица. «Да, да... — ухмыляется — Liberté, Egalité, Fraternité... Почему только никто не прибавит Культура».

Память, мне кажется, замедляет хвост, навсегда утраченный нами в счастливым процессе эволюции. Она определяет наши движения, в том числе и миграции. И помимо этого, есть что-то откровенно атакическое в самом процессе воспоминания, хотя бы потому, что этот процесс никогда не бывает линейным. К тому же, чем больше вспоминаешь, тем ты, возможно, ближе к смерти.

Если так, то хорошо, когда память спотыкается. Чаше она скручивается, раскручивается, виляет туда-сюда, в точности

были только знаками забвения. Печальная истина состоит в том, что и в реальности слова не могут преуспеть. У меня, по крайней мере, сложилось впечатление, что любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но, когда язык не в состоянии воспроизвести отрицательные реалии другой культуры, может возникнуть нахудшая из тавтологий.

История, без сомнения, повторяет самое себя: в конце концов, как и у человека, у нее не слишком велик выбор. Но, по крайней мере, должна быть доступна роскошь отдавать себе отчет, жертвой чего именно ты становишься, имея дело со странной семантикой, управляющей такой чуждой сферой, как русская жизнь. Иначе попадешься в

синтаксис слишком извилист. Позвоительно спросить, многие ли из нас могут припомнить Зло, которое запросто, с порога сказало бы: «Привет. Я — Зло. Как дела?».

Если всему, что я здесь написал, присущ некий элгический оттенок, то это скорее из-за жанра произведения, чем из-за его содержания, которому больше бы подошла ярость. Впрочем, ни грусть, ни гнев не передают смысла прошедшего; элгичность, по крайней мере, не создает еще новой реальности. Что бы такое хитроумное ты ни соорудил для уловления собственного хвоста, всегда дело кончится невостом, полным рыбой, но без воды. Той, что раскачивает лодку. И уже от одного этого мунит или тянет к элгическому тону. Или вытряхиваешь рыбу обратно.

Жил-был однажды маленький мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Которой управляли существа, которых, случись, кто угодно

было минутки две, он съезжал на лед и делал шагов двадцать-тридцать по направлению к середине. В такие минуты он думал о том, что же делает рыба под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал назад, уже без остановок, прямо дошкольного подъезда. Он врывался в вестибюль, цеплял на крючок пальто и шапку и взлетал по лестнице в класс.

Это большая комната с тремя рядами парт и портретом Вождя на стене за стулом учителя, с картой двух полушарий, из которых одно законное. Мальчик садится на свое место. Открывает портфель, кладет на парту тетрадь и вставочку, поднимает лицо и приготавливается слушать вздор.

Перевел с английского Л. ЛОСЕВ

Впервые опубликовано в журнале «Эхо», № 1, 1980 г., Париж.